

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПРУСТА

*Борису Пуришеву:
In memoriam*

... озеро очарований...
Андрэ Жид

Наконец, после значительного, семилетнего, перерыва возобновилось издание прославленного цикла романов Пруста "В поисках утраченного времени", предпринятое и осуществляемое во многом благодаря усилиям нашего знаменитого переводчика Н. М. Любимова. Создание новой русской версии "В поисках утраченного времени" потребовало не только полной отдачи всех возможностей литературного мастерства и гуманитарной культуры того, за чьими плечами стоят такие титанические труды, как переводы "Дон Кихота", "Гаргантюа и Пантагрюэля", "Декамерона", но и его огромной энергии в разрушении тех видимых и невидимых преград, которые до недавнего времени стояли на пути издания русского Пруста.

Итак, к 1988 году советский читатель имеет заново переведенными четыре романа Пруста, опубликованные в 1934-1938 годах издательством "Время", а затем Гослитиздатом в Ленинграде. Прошло полвека - и каких полвека!.. Есть все основания для размышлений о том, как по-разному можно перевести Пруста, по-разному его прочесть, по-разному увидеть его место в истории литературы и в своей судьбе, ибо знакомство с этим писателем, смею сказать, ни для кого не проходит бесследно.

Пусть поначалу это будет то смешанное с полупониманием удивление, которое испытал я семнадцатилетним юнцом, когда в начале 50-х годов открыл для себя этот странный, сновидческий мир, пусть это будет отталкивание и неприязнь, - раз услышав, забыть неповторимый голос Пруста, не определить своего к нему отношения невозможно. Для людей 20-30-х годов, когда только начиналось освоение прустовского материка, романы цикла "В поисках утраченного времени" были откровением, наваждением, частью их собственной биографии. "Читаю Пруста с ужасом и наслаждением, - писала Ахматова в 1937 году Н. Н. Пунину. - Думаю, что мы его любим так, как современники любили Байрона". Следующее десятилетие заметно поубавило это обожание. Мировые катаклизмы середины века, в которых человек представал песчинкой в сшибке стихий, повлияли на формирование нового отношения к Прусту, если не как к чему-то не очень жизненному, насущному, то, во всяком случае, безусловно связанному с навсегда ушедшей эпохой и ограниченному ей. Та же Ахматова в 60-х годах, помню, противопоставляла мироощущению героя Пруста, защищенного со всех сторон устойчивым бытом, бабушкой, светскими знакомствами и т. п., как более современное мироощущение хемингуэевского Фредерика Генри, который все потерял, который один на всем белом свете. Можно умозаключить, что Пруст представлялся ей в это время некоей эстетической "суммой" той belle époque, из которой она сама когда-то вышла и рамками которой, естественно, не хотела себя замыкать.

О, эта знаменитая belle époque!.. Как обманчива зависимость от нее Пруста! Рискую прибегнуть к парадоксу, можно сказать, что единственная беспорная связь с этим временем состоит у Пруста в его уверенности, что всякий читатель может позволить себе роскошь с должным вниманием следовать с ним по его жизненному пути, исполненному в его представлении не меньшей символичности, чем путь Данте по потустороннему миру. Но, как бы то ни было, не подлежит никакому сомнению: тот, кто не читал заключительного романа прустовской эпопеи "Обретенное время", свет которого окончательно проясняет весь ее замысел, Пруста не знает и обычно вычитывает в Прусте только близкое или доступное себе. Это может быть та сторона лирической прозы в "Поисках", где Пруст выступает выучеником и продолжателем А. Додэ, А. Терье, Э. Рода,

- и тогда читателю по душе кувшинки Вивонны, пирожное "мадлена", первозданная свежесть мира ребенка в первой части "Стороны Свана", но может быть и стэндалевская линия анализа любви с соответствующим предпочтением "Любви Свана", "Пленницы" и "Беглянки", и бальзаковская линия светского бытописательства (если не социальной критики) с "Германтом", и освещенная далекими отблесками огненного дождя, испепелившего Содом, развернутая "петрониевская" сюита второй половины эпопеи, и, наконец, найдет своих поклонников и Пруст-"талмудист", далеко перещегоолявший в своих "опытах" Монтеня в части бесконечного нанизывания взаимодополняющих, а то и взаимоисключающих объяснений того или иного явления или поступка.

Но только "Обретенное время" открывает нам все карты Пруста, "конечный вывод" его мудрости: человек изначально и предельно одинок, не может выйти за пределы своего "я" и адекватно общаться с другими, блуждает в темном лесу умственных фикций, таких как различные виды социальной практики или любовь, являющаяся во всех формах - от "нормальной" до "девиантной" - своеобразным заболеванием. Человек мог бы записать всю свою жизнь на счет "потерянного времени", если бы не чудо искусства, способного преобразить любой сор земного существования в вечную, непреходящую ценность... Надо думать, сейчас уже мало кто согласится на отведение искусству такой провиденциальной роли, и тогда нельзя будет не признать, что одиночество прустовского героя более всеобъемлющее, чем хемингуэевского: Фредерик Генри потерял Кэтрин Баркли, но не веру в любовь - герой "Поисков утраченного времени" подводит читателя к мысли о бессмысленности любых "абстракций" человеческого сознания. При внимательном прочтении цикла до конца русская читательская публика без труда сможет убедиться в справедливости этой характеристики. Надо только пожелать труду Н. М. Любимова благополучного завершения и беспрепятственного обнародования.

А пока что издание четырех романов, занявшее в отнюдь не легких 30-х четыре года, растянулось в 70-80-х на четырнадцать лет и, к тому же, не без мытарств. Достаточно сказать, что в "Содоме и Гоморре" целомудренное издательское око не потерпело комментария доктора Коттара по поводу вальсирующих Альбертины и Андреи в Бальбекском казино и знаменитого авторского отступления в связи с наблюдаемой им первой встречей барона де Шарлюса (в транскрипции Н. М. Любимова - де Шарлю) с жилетником Жюпьеном, отступления, для которого Пруст, по свидетельству Леона Додэ, специально проштудировал работу Дарвина "О двигательной способности у растений" (в довоенном издании оба пассажи присутствовали, но там, правда, не стерпели такой детали, как резко обозначившийся к старости еврейский нос Свана).

Что касается перевода Н. М. Любимова, то он полностью подчинен тем принципам, которые изложены им в эссе "Перевод - искусство". Их можно принимать или не принимать, но сейчас эти принципы перевода переживают, пожалуй, эпоху своего наивысшего торжества, чем не в малой степени обязаны поэтическому гению самого крупного их приверженца - Б. Л. Пастернака. Н. М. Любимов, несколько обобщая, сформулировал их в своем эссе так: "Когда я перевожу какого-нибудь автора, я всегда стараюсь найти ему некое, хотя бы приблизительное, соответствие в русской литературе. Это вовсе не значит, что я призываю самого себя или кого-нибудь "делать под", я только ищу ориентир, я ищу точку опоры"¹. У Пастернака таким соответствием переводимым авторам были аналогичные пласты собственного творчества, опираясь на которые он иногда даже превосходил оригинал. Н. М. Любимов ищет нужную ему "стилевую атмосферу" вовне. Надо сказать, что даже отдаленного подобия стилистике Пруста в русской литературе нет. Думается, что из видных русских писателей лучше всех его мог бы перевести М. А. Кузмин, хотя, как у нас, к сожалению, водилось и водится, его этим заказом в свое время не удостоили, поручив переводить А. де Ренье; но даже и в послереволюционной, отмеченной чертами авангардных поветрий прозе Кузмина внешних примет прустовского стиля нет. Я затрудняюсь сказать, кто был выбран Н. М. Любимовым в качестве "приблизительного соответствия" Прусту, но бесспорным

достоинством его перевода является удобочитаемость, непринужденность, естественность, достигаемые отнюдь не за счет упрощения или огрубления прустовского письма. Но... что-то неуловимое из "русского Пруста" в сравнении с довоенными переводами, при всей их порой, с современной точки зрения, неуклюжести, исчезло. Их "буквализм", их "скованность" были не только чертами определенного этапа в истории отечественной переводческой школы, но свидетельством бесконечной любви к Прусту поколения, читавшего его "с ужасом и наслаждением". Девизом этого поколения было: "Не пройдет и йота", и оно, конечно, при всех своих недостатках не позволило себе грешить словесной живописью, стилевой "избыточностью", от которых, увы, не всегда свободны мастерские переводы Н. М. Любимова.

Июнь 1988 г.
Москва

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Перевод - средство взаимного сближения народов. - М.: Прогресс, 1987. – С. 143.